

Я забыл спросить у Лешки

РАССКАЗ

Мы вошли в город уже утром. Он стоял спокойный и выспавшийся, но мы уже ничего не замечали, ничего не слышали и не чувствовали. Мы шли посреди дороги, и нас обгоняли машины, не сигналивая, не требуя посторониться, на нас оборачивались люди и, остановившись, провожали нас долгими и внимательными

взглядами, какие появляются у человека только при встрече с несчастьем. Носилки уже не казались тяжёлыми, спать не хотелось, усталости не было — было лишь липкое и тяжёлое равнодушие, которое подчинило себе все наши мысли и чувства. Если бы Андрей упал сейчас на дорогу и закричал или стал биться головой о камни, я бы нисколько не удивился и с тупым безучастием стал бы ждать, чем всё это кончится.

Мы не знали, где в городе больница, но мы и не спрашивали о ней. В таких случаях больница сама должна выйти навстречу человеку. Мы не торопились. Было поздно торопиться, и у нас не было сил — всё убила дорога, длинная и холдная, и то, что случилось в дороге.

Ещё год назад мне нередко снились сны, страшные, как несчастье. Когда я просыпался и находил себя целым и невредимым, я по странной привычке вытягивал перед собой руки и начинал сжимать и разжимать кулаки, словно благодаря таким образом свою судьбу за то, что со мной ничего не случилось. Быть может, и это тоже сон, слишком затянувшийся только потому, что я никогда ещё так не уставал.

«Если это сон, — решил я, — я ни за что не вспомню то, что произошло за последние сутки».

Нет, я всё это помню. Вчера тоже было утро, светлое и прозрачное, как окно ярко освещённой комнаты, когда на него смотришь из темноты. К восьми часам мы подошли к тому месту, где обрывалась лента дороги, которую мы вели, но никого ещё не было, и мы уселись на жёсткую траву, по-старушечьи сгорбившуюся в ожидании снега.

— Кому ты вчера писал письмо, Лёшка? — спросил Андрей.

— Матери.

— А Ленке?

— Она ещё не ответила.

Лёшка замолчал, а я подумал, что Андрей мог бы ни о чём и не спрашивать, раз Лёшка сам пока ничего не знает.

Это случилось примерно через час после того, как мы начали работу. Я стоял в стороне и всё видел. Сосна была очень высокая: всё время, пока пила вгрызалась в её тело, она дрожала мелкой боязливой дрожью, потом смирилась, успокоилась, слегка поклонилась своей зелёной остроконечной шапкой в ту сторону, куда её хотели повалить, и вдруг, будто спущенная пружина, рванулась обратно, туда, где Лёшка выгибал кустарник. Я слышал, как кто-то из пильщиков крикнул коротким и сильным, как удар боксёра, криком. Земля глухо ойкнула и сразу же замерла, будто приготовившись к новому удару. Лёшки не было. Я прыгнул и ещё в прыжке увидел, как он вскочил с земли, но к нему со всех сторон уже бежали люди.

Лёшка стоял перед нами, глупо улыбаясь, смущённый тем, что из-за него все побросали работу.

— Пустяки, — забормотал он, виновато краснея, — веткой задело. Пустяки, вы не беспокойтесь. Я не знаю, почему упал, наверное, от страха. А так не больно.

И все сразу заулыбались и заговорили, все, кроме мастера, который выругался сочным, как луковица, ругательством и пригрозил вместо обеда накормить нас правилами по технике безопасности.

Через десять минут мы все разошлись по своим местам, а ещё через полчаса ко мне подошёл Андрей и сказал, что с Лёшкой что-то неладно. Лёшка сидел на той самой сосне, которая сбила его с ног, и, задрвав рубашку, смотрел, как синий

круг медленно, словно чернильное пятно на белой скатерти, расплзается по его животу.

— Что, Лёшка? — спросил я и почувствовал, как на меня давит боязнь беды.

— Ничего, ребята, ничего, — у него был вид мальчишки, вернувшегося после драки домой с разорванной рубашкой. — Ноет немножко, но до обеда пройдет. Честное слово, я знаю, у меня всегда так. Это не опасно. Вы идите, а я посижу чуть-чуть и буду помогать вам. Идите, ребята, идите.

Мы пошли к мастеру. Тот поднял на нас свои медвежьи брови и плотно придал одну к другой губы. Он молчал минуты две, потом сказал, что до больницы почти пятьдесят километров, а трактор всё равно должен работать, если бы даже свалилась половина бригады.

Андрей рассердился.

— Мы все трое из одной школы, — сказал он как бы некстати, но мастер понял его и, кажется, даже обрадовался тому, что выход найден.

— Вот вы и пойдёте. Возьмите с собой плащ-палатку и топор.

Мы уходили, когда солнце забралось уже высоко и горело всюю. Лёшка долго не хотел ничего и слышать о больнице, пока Андрей не прикрикнул на него и не сказал, что здесь с ним придётся возиться всей бригаде, а работа будет стоять. Этого Лёшка не мог перенести, он всегда боялся быть для кого-нибудь помехой или обузой. Но ему как будто и в самом деле стало лучше, и он без видимого труда шёл рядом с нами.

На тридцать километров растянулась эта дорога. Два с половиной месяца тащили мы её на себе, с трудом поднимая в горы и так же с трудом спуская вниз, в сырость мхов и кочек. Теперь тридцать километров нам предстояло пройти сразу, единым махом, чтобы выбраться на другую, по которой до больницы было ещё около двадцати километров.

Сначала мы шли молча. Я слушал, как лес, крепко обнявшись ветвями и покачиваясь в такт музыке ветра, поёт заунывную прощальную песню. Лёшка, наверное, думал о Ленке или злился на себя за то, что пришлось бросить работу, а Андрей... я не знал, о чём думал Андрей. Он всегда был не слишком понятен нам, хотя мы и считались друзьями. Он любил то, что не любили другие, и он думал и говорил о том, о чём, казалось, никак нельзя было в эту минуту думать или говорить. Мы знали, что это идёт у него вовсе не от желания казаться оригинальным и непохожим на других, а оттого, что он такой и есть. И на этот раз он тоже вспугнул наше молчание фразой, которую мы с Лёшкой совсем не ждали.

— Будем считать, что коммунизму не повезло, — неожиданно сказал он.

— Сегодня один из его строителей потерпел аварию. М-да. — Он засмеялся и повернул к нам своё лицо с прищуренными глазами.

Я видел, что это только приманка, чтобы подвести нас к старому, ещё школьному спору, который мы не трогали с тех пор, как приехали сюда, но Лёшка, видимо, этого не понял.

— Пустяки, — виновато сказал он, употребив своё любимое словечко, которое у него всегда звучало как «простите». — Один человек ничего не значит.

— Как не значит?! — обрадовался Андрей. — Граждане! Немедленно вводите поправки в свои вычисления. Коммунизм запаздывает. Сбавил скорость, уважаемые граждане. Сегодня на голову одного из его лучших строителей свалилось дерево. Здоровье пострадавшего пока вне опасности, но бесплатная выдача продуктов и товаров широкого потребления из магазинов задержится.

— Ну, что ты говоришь? — возмутился я. — Коммунизм — это тебе не автолавка с бесплатными товарами, которая в один прекрасный день подвезёт всё, что тебе надо для жизни. К коммунизму надо ещё идти.

— Вот именно: всё это далеко-далеко, вот как солнце в пасмурную погоду: где-то есть, а не видно. Это тебе не поездом с Кубани в Сибирь приехать.

— Я знаю. Только ты-то зачем сюда приехал, если не веришь в это? Оставался бы себе дома, поступал в институт...

— Видишь ли, мы с тобой говорим на разных языках. Для тебя дорога, которую мы ведём, — это дорога в коммунизм, никак не ближе, а для меня она то, через что надо пройти, чтобы стать человеком. Я хочу быть сильным, крепким человеком. На Северный полюс меня не возьмут, вот я и приехал сюда, где есть звери, где тебе на голову может свалиться лесина, где люди живут в палатках, кормят комаров и всякую другую таёжную гадость. Если я пройду через это и выдержу, а потом ещё пройду через две-три такие же дороги, я смогу потом уважать себя и идти куда угодно. Понятно тебе?

Лёшка хотел что-то ответить Андрею, но не успел. Он вдруг сразу, в одно мгновение, задохнулся как-то страшно и вытянул вниз подбородок, чтобы не закричать. Это было то же самое, как если бы человеку вонзили нож в спину в ту минуту, когда он мечтал о чём-то светлом и красивом. Лицо у человека ещё улыбается, а сам он уже скорчился от боли. Я подхватил Лёшку и осторожно опустил его на землю. Он вытянулся во всю длину и стал судорожно обеими руками разглаживать живот, быстро водя по нему ладонями взад и вперёд. Я сбросил его руки на землю и поднял рубашку. Среди океана синевы только кое-где виднелись островки белой кожи, да и то они заметно темнели, будто подмытые снизу водой.

— Горит! — выдохнул наконец Лёшка, быстро, одним слогом. Он немного помолчал и добавил с выражением чтеца, почти восхищённо, но сквозь зубы: — Ух, до чего здорово гори-и-ит!

Андрей молчал. Он, как и я, тоже испугался, и мы понимали, что теперь нам будет не до споров, что у Лёшки что-то страшное, а что — мы не знали. Мы только видели синеву на его животе, мы только понимали, что ему как можно скорее нужен врач.

Через полчаса на нас снова двинулась дорога. Она не торопилась вести счёт метрам, и мы, шагая по ней, злились и нервничали. Андрей шёл впереди, я — сзади. Лёшку мы несли на носилках, сделанных из плащ-палатки и двух палок. Он тяжело дышал и резко вздрагивал всем телом, как человек, только что вернувшийся с мороза в жарко натопленную комнату. Одна нога у него была заброшена на палку, а другая настойчиво пыталась достать землю, но это ей никак не удавалось, и она маятником качалась в воздухе.

Мы не были виноваты в том, что с Лёшкой случилось несчастье, но мы ничем не могли ему помочь, и это нас больше всего удручало. Мы видели: ему плохо, очень плохо. Мы знали: это страшно, это игра в прятки со смертью, когда ищет смерть и нет ни одного надёжного места, куда можно было бы спрятаться. Вернее, такое место есть — больница, но до неё далеко, ещё очень далеко.

Мы всё шли и шли. Мы уже давно устали, но страх заставил нас забыть об усталости и гнал всё вперёд и вперёд. Я видел только, как качается Лёшкина нога, я видел перед собой спину Андрея и деревья, высовывающиеся из-за неё, видел, как катится под меня дорога, и это было главным, это было экраном для меня, тем, что происходит на сцене, а всё остальное — будто зрительный зал, тёмный и немой, как пустынная ночь.

— Я в самом деле, ребята, не смог бы больше идти, — неожиданно сказал Лёшка слабым, будто подпиленным голосом, и я увидел его открытые глаза, которыми он пытался улыбнуться.

— Молчи! — потребовал Андрей.

— Нет, давайте лучше говорить, — попросил Лёшка. — Ты говори, Андрей, и ты, Витька, тоже говори, ну говорите, пожалуйста. Так легче. Ну, давайте дальше о коммунизме. Ты не прав, Андрей, честное слово, не прав. И ты веришь в коммунизм, я же знаю, что веришь. А наговариваешь на себя. Ну, скажи, веришь или нет?

— Верю, — нехотя согласился Андрей. — Глупо было бы совсем не верить. Это как дерево, пока ещё маленькое, но оно обязательно вырастет в громадину. Только за ним нужен особый уход... надо, чтобы каждый ухаживал, чтобы он поливал его в жару своим трудовым потом, а в мороз согревал его теплом своей души. А у нас не все любят потеть и не у всех души греть могут.

— Но ведь таких мало, — возразил я.

— Не так уж и мало. В том-то и дело, что есть. Взять хотя бы нашего мастера. От него, если говорить откровенно, пользы для этой дороги в десять раз больше, чем от тебя, от меня и от Лёшки, вместе взятых. Он специалист, а мы — мальчишки, сразу после школы. Но не дал же этот мастер трактор сегодня, чтобы увезти Лёшку. У него план, а человек хоть подыхай. Вот так. А то, что он этим самым свинью коммунизму подложил, он ни за что не поймёт.

— Ребята, положите меня, — попросил вдруг Лёшка, оттягивая вниз подбородок.

И снова мы стояли и смотрели, как он водит по животу руками, будто стирает мазь для загара. Лёшкино лицо от боли покрылось потом, но он не кричал, не метался, а только часто дышал, отчего тряслось всё его тело.

Когда схватки кончились, мы опять взялись за носилки, только теперь впереди шёл я.

— Говорите, ребята, говорите, — долетает до меня шёпот Лёшки, и я слышу за спиной его учащённое дыхание. — Говори, Андрей, ты хорошо говорил. Только не надо так зло. Ты говорил со злостью. Не надо злиться. Ну, Андрей.

Андрей молчит. Я понимаю его. Трудно в такую минуту говорить, особенно когда просит он — не я, а он, — гораздо легче закричать на весь лес и сломя голову бежать и бежать, пока не выбьешься из сил и не упадёшь.

— Андрей! — зовёт Лёшка.

Андрей молчит.

Тогда начинаю говорить я. Я путаюсь и говорю первое, что мне приходит в голову. Но мне легче; я не вижу ни Андрея, ни Лёшки. Мне в тысячу раз легче, чем Андрею, потому что я не вижу Лёшки. Я иду впереди.

— Коммунизм, — говорю я, — конечно, будет коммунизм. — Я даже пытаюсь говорить спокойно, чтобы поддержать себя. — Ясно, будет. Только мне вот что непонятно. Вот когда ставят новый завод, на его здании записывают имена лучших строителей. Электростанцию — то же самое. А как быть, когда люди построят коммунизм? Ведь это только так, в газетах пишут — светлое здание коммунизма, а здания-то никакого не будет. Куда люди станут вписывать имена лучших строителей коммунизма? Как ты думаешь, Лёшка?

— Чудак, — шепчет он, и я невольно укорачиваю шаг, чтобы услышать его. — Всё тут очень просто. Ведь строители заводов и электростанций — это и есть стро-

ители коммунизма. Зачем им ещё ставить памятники и записывать их имена на какую-то другую стену? О них книги напишут.

Я молчу. Я всё это прекрасно знаю, но мне просто нужно было слышать Лёшку, чтобы узнать по его голосу, как он себя чувствует.

— Ребята!

Мы опускаем носилки. И опять всё то же, но с каждым разом этот вынужденный отдых становится всё длинней и длинней. Потом снова идём. Андрей — впереди, я — позади.

— Не молчите, ребята, не молчите. Я прошу вас. Мне надо слушать вас. Больно, понимаете, больно. Горит.

Теперь мы знаем, о чём нужно говорить, и мы будем говорить теперь только об этом. И мы говорим. О том, что зря люди стыдятся мечтать о коммунизме, о том, что надо бить всякого, кто хихикает по этому поводу.

— Ребята!

Солнце не выдержало и ушло. Не в силах помочь нам, оно упало за лес. День, свернувшись шариком, укатился. Ему было жаль нас, но его время кончилось. Наступила темнота. Деревья, тесно прижавшись друг к другу, молчали. Небо, как халат фокусника, горело звёздами. Небо было чистое, звёздам нечем было закрыться от нас, и они, вынужденные без конца смотреть на то, как мучается Лёшка, испуганно дрожали.

Лёшка метался по носилкам, бредил.

— Хватит! — кричал он. — Хватит! Отодвиньте костёр. Палатка сгорит, отодвиньте костёр. Жарко! Идиоты! Э-э-э-эх!

Его руки ползали по животу, а ноги, свесившись, загребали воздух. Я шёл опять позади, и мне было труднее, чем Андрею.

Потом Лёшка умолк, но через несколько минут заговорил снова, и его голос теперь звучал спокойно и ласково.

— Это ничего, — говорил он. — Это пустяки. Ты напиши. Я жду и жду. Тише. Я хочу поговорить с ней. Тише, я вас прошу. Я не видел, что оно падает. Неужели ты в самом деле не слышишь? Слышишь? Странно. Я говорю, а ты не слышишь. Я тоже не слышал. Если бы я слышал... Я не слышал. Слышишь? Вот теперь слышишь, да?

И Лёшка улыбнулся.

А мы шли и шли, разрывая ночь. Наши ноги увязали в темноте, наши глаза не могли пробить её толщи. Ночь лежала на земле толстым тёмным одеялом. Мы запутались в нём. Мы устали. Мы молчали. Но Лёшка не молчал. Никогда ещё он не говорил так много. Он то кричал, когда боль хватала его за горло, то переходил на шёпот, когда она спускалась передохнуть. Он разговаривал и с матерью, и с Ленкой, и с нами. Когда он разговаривал с нами, мы всё равно молчали. Хотелось отвечать ему, но мы знали, что он не услышит. И мы шли молча.

Потом показалась река, и мы свернули на твёрдую дорогу. Оставалось около двадцати километров. Лёшка молчал. Мы даже не заметили, как стих его шёпот. Мы думали, что ему стало легче. Дорога рвалась то в одну, то в другую сторону, но мы находили её и старались придавить к земле ногами. Я устал. Я здорово устал. «Неужели ты не сделаешь ещё один шаг, потом другой. Правой и левой. Правой и левой».

Лёшка молчал.

И вдруг нам стало страшно. Мы остановились и положили носилки на землю.

Андрей взял Лёшку за руку. Он держал её и смотрел на меня. Лёшка не двигался. Я не поверил. «Не может быть! Он просто спит». Я медленно опустился перед Лёшкой и взял его за другую руку. Она была послушной и мягкой и уже не пульсировала.

Мы поднялись одновременно. Мы не кричали и не плакали. Мы стояли караулом с обеих сторон возле Лёшки и молчали. Я смотрел в ту сторону, где спал город, и я думал о том, что сегодня нам придётся отправить Лёшкиной матери телеграмму, которая сразу, одним ударом сойдёт её с ног, а через несколько дней придёт письмо от Лёшки. И она много раз будет приниматься за него, прежде чем дочитает до конца.

Я помню всё, помню до боли ярко и точно все мелкие линии подробностей, но я не помню сейчас, кто из нас первый лёг рядом с Лёшкой. Мы устали. Мы лежали на земле, сдавив его между собой, крепко-накрепко обняв Лёшку, чтобы согреть его своим теплом.

Рядом вспыхивала река. Луна, вытаращив свой единственный глаз, не отводила от нас взгляда. Слезливо мигали звёзды. А мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, трое друзей...

Потом стало холодно, и я растолкал Андрея. Мы бережно, не говоря ни слова, подняли носилки и пошли. Впереди — Андрей, позади — я. Светало. Я неожиданно вспомнил о том, что забыл спросить Лёшку о самом главном. Я не спросил его, будут ли знать при коммунизме тех, чьи имена не записаны на зданиях заводов и электростанций, кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни стало захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лёшке, который жил на свете немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца.

Имба

РАССКАЗ

Имба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. Без хозяйского догляда жилье стареет быстро — постарела до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду — и все же каким-то макарон из последних сил изба держала достоинство и стояла высокононько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем.

Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не

без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души. «Ходила попечалиться к старухе Агафье», — не скрывали друг перед другом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадававшего на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшим теперь травинной, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, и сказать нельзя.

Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволуцкой, селенье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с той или другой стороны по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили Криволуцкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни. Агафья в замужестве пробыла всего полтора года — за криволуцким же парнем Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаем, грубоватым, хорохористым, во все встречающим, с лихостью выкатывающим на всякое приключение свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице. Его взяли в армию, там он задолго до войны и пропал смертью, может быть, и храброй, но бестолковой. От него осталась дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, которой так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась... еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не отрастают. В то время это было редкостью, а для деревни и вовсе невиданное дело — бабье пьянство. От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась, похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за дальнего мужика и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька.

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом закутываясь от мошкар, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Говорила с хрипотцой — не вылечила вовремя простуду и голос заскрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему гладкость — ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли

с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова, и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти... если бы еще 250 лет простояла Криволуцкая, она бы это не забыла.

Но дни Криволуцкой были сочтены. Только-только после войны встали на ноги, только выправились с одежкой и обушкой, досыта принялись стряпать хлеба, а самое главное — только избавились от мошки, и коровы вдвое-втрое прибавили молока, а люди стянули с голов сетки из конского волоса и с надеждой заглядывались вокруг, что бы такое еще сыскать для справноного житья, — вдруг перехват всего прежнего порядка по Ангаре, вдруг кочуй! И все деревеньки с правого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, сваливали перед затоплением в одну кучу.

Агафья хворала, когда пришло время переезжать. Болезнь у нее была одна — надсада, от других она выкрепилась в кремень. В те же годы накануне затопления впервые за всю ангарскую историю стали проводиться медосмотры, на специальном пароходе с красным крестом сплавлялись от деревни к деревне в низовья врачи и каждого-то поселянина в обязательном порядке выстукивали и высматривали. Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась она о больничные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали настаивать на лечении, страшая последствиями, но не меньше того снедаемая бездельем. Криволуцкая ставилась на новом месте своей улицей, но вставали дома в другом порядке, и этот порядок все теснил и теснил ее запаздывающую избу неизвестно куда. Агафья еще больше похудела, на лице не осталось ничего, кроме пронзительных глаз, руки повисли как плети. Вот это была надсада так надсада! Иногда она вскидывалась, пробовала бунтовать, но ее уже знали, знали, что на нее можно прикрикнуть, и тогда она, лишенная здесь всякой опоры, унижительно распластанная на кровати, как на пыточном ложе, опять смирялась и умолкала. Здесь, в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях, и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием, что-то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на трюсах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может вмешиваться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики в голос принимают уверять, что это и хорошо, что будет торчать, что это выйдет памятником ее жизни, и Агафья будто соглашается с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже согреться захочется.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из

себя настил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в дорогу, и везла она разобранную избу на новопоселенье уже в конце августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала, и за дурной знак приняла, что приходилось ей отпочковываться от криволуцких. День после сердитого холодного утреника был ярким и звонким, дорога шла меж лоскутных полей, засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же поездками широко и безжалостно — хоть пять саней выстраивай в ряд. Да и то сказать — в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, точно от него, от хлебного дела убегала деревня, сманенная заработками на лесе.

Есть события, которые человек не в состоянии вместить в себя осознанно, в которые он вталкивается грубо, неудержимо, как всякое малое в большое. Тупо сидела Агафья в кабине старого громыхающего трактора без дверок, тупо, оглушенно, высовывая и задирая голову, оглядывалась на ползущий позади, стянутый тросами воз с тем, что было ее избой, и что оказалось теперь таким жалким и дряхлым, что и поверить нельзя было, как из этой груды хлама можно опять поднять дом. Тракторист, рябой мужик из Ереминой, из деревни с левого берега напротив Криволуцкой, что-то время от времени кричал ей, спрашивая, — она не слышала и не хотела слышать, тоже разбитая, бесчувственная, сдавленная во все тело грубыми стяжками, и только вздыхала часто, дыша одними вздохами, и рукой показывала трактористу, чтобы он не торопился. С трудом вспомнила Агафья его имя — Савелий Ведерников, и то лишь после того, как представила его избу, стоящую с ангарской стороны улицы, возле ручья под двумя громадными темными елями, вспомнила, что жена его, баба задумчивая, снулая, принялась рожать поздно, к сорока, и при третьих родах умерла.

Так давно это было, что и веры нет воспоминаниям. Все было давно вплоть до этого дня, взошедшего с какой-то иной стороны, чем всегда.

Перебрались через речку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымощены гатью, высоко запрокинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли на умятый яр. Агафья с зачастившим и пропадающим сердцем запросила остановку. Савелий, не заглушая трактора, пошел в кусты, а Агафья взобралась на воз, пристально и бессмысленно глядя, как с плах и бревен стекает грязная вода, с той же бессмысленностью переводя взгляд на речку, которая никак не могла успокоиться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну поперек от берега к берегу.

Подошел Савелий, сладко зевнул, показывая, как у молодого, ровные крепкие зубы, завернув голову к солнцу, медленными движениями пополоскал в нем свои рябины, пятнавшие лицо. Заноса одни ноги, не прихватывая руками, как при восходе на бугор, поднялся на сани и присел рядом с Агафьей. Был он старше Агафьи лет на пять, но был еще крепок, не истрепан жизнью. Про него нельзя было сказать, что он среднего роста, — рост в нем не замечался, а замечалась ладная, вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, с головы не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающего вид мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями нати-

рать лицо, взбадривая его, во всем же остальном, не показывая усталости, тикал да тикал как часы.

После удачной переправы и прогулки в кусты Савелий повеселел, его потянуло на разговор.

— Не попала, говоришь, на Криволицкую улицу? — в который раз за дорогу спрашивал он, закуривая и заглядывая куда-то за Ангару.

— Не попала.

— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?

— Не приведи больше Господь такой отлежки! — пусто, не впервые за последние дни одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; всю жизнь так бывало: поглядишь на нее, и силушки, терпения прибудет. — Не приведи Господь! Пошла туда с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не по нам, парень, леченье. Кому, может, и леченье, а нам мученье. Мы люди нелечимые. Как кони.

— А че ж кони!.. Коней тоже лечат. Ветеринары-то на что?

— Много они налечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, о том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволицкую, в свою амбарушку, чтобы пускай в разоре, но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить сна. — Ветеринары твои только и приучены, что поросят легчить да браковку делать. Ой, а надо мной-то чего вытворяли! — вдруг спохватилась и заговорила живой, отчаянной: — Че вытворяли! Я тебе расскажу. Вот несут вот этакую кишку, из резины, потертую, я уж потом догадалась, что жеванную... Несут — глотай! — на чужой голос требовательно вскричала она. — У меня глаза на лоб. Глотай! — кому говорят! А как ее глотать?! Как, гряд! Видала, как воробей червяка глотает? Маленький воробей большого червяка — р-раз! — и нету! И ты так. Воробей червяка может, и ты моги. Глотай! Да я-то не воробей. Я давлюсь, из меня свои кишки вон лезут.

— Для чего глотай-то?

— Сок из нутра качают. Там сок есть.

Савелий кивнул:

— Желудочный сок.

— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твоего соку мы ниче опознать не можем. Они мне силой туды, я выдергиваю обратно. Они — туды, я — обратно. Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла.

— Проглотила кишку-то?

— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся омлела, сидю, и уж дыху не стает. Экая, думаю, смертушка мне выпала несурзая. Через каку-то пору выдерьнули, а он, кол-то, все стоит. Подымайся, гряд, и иди, а я сдвинуться не могу. Охнуть не могу. Нет, парень, лутше рожать, чем глотать. — От мысли, что то и другое осталось теперь навсегда позади, она протяжно вздохнула, припомнив, что никакая боль, никакая беда не бывает последней, а только следующей да следующей. Припомнила и стала спускать ноги с воза, пора было ехать.

Но Савелий не торопился. Агафьин рассказ остался незаконченным.

— Сок-то дала, че он показал? — спросил он, чудя, пристально, на вытянутой руке рассматривая, прищуриив один глаз, окурок.

Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:

— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету.

Как ребята похвалили: ты, гряд, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты почто все время щуренишься-то? — спросила она, тоже невольно приспуская веки. — В глаз че попало?

— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и никак не вылетят. — От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, подсушенном желтоватом лице тоже задвигались-заходили, сплясали плутоватый танец и затихли опять в ожидании. Было в этом местном мужике, никогда не выдавшем иной жизни, кроме войны, что-то неместное, податливое, мягкое. Агафья его знала плохо, знала больше по собраниям, на которые съезжался весь колхозный народ раз в году, помнила, что бригадир он в Ереминой, но земли на левом берегу были еще беднее, чем на правом, и теребился он на собраниях со взыском, критику принимал спокойно и даже как-то благодушно. Ни разу Агафья и не разговаривалась с ним больше нескольких слов, а приглядевшись теперь, разговорившись, она бы, пожалуй, и удивилась ему сильнее, если бы не это общее светопреставление на Ангаре, на которое не хватало никакого удивления.

Но она догадалась:

— Боишься, что снимут тебя с машины с глазами-то?

— Могут. Леспромхоз усядется, комиссовку будут проводить.

Вблизи поселка, еще не поднятого в рост, неохватно, торопливо наваленного, пугающего своей бесформенностью, прокричал Савелий, перекрывая гуд мотора:

— Давай я тебя на ереминскую улицу завезу? А?

— Где я там буду?

— Рядом со мной. Я потеснюся, места хватит.

— Нет уж, парень, я свое буду обживать. Какое-никакое, а свое будет.

Агафьюину улицу, на которой собирались такие же, как она, отделенцы, не павшие в свою деревню или приткнувшиеся совсем со стороны, быстро назвали Сбродной. Сбродная так Сбродная, в горячке врастания в новую жизнь никого это не задевало. Скатывалась Сбродная под горку по правому боку поселка, если смотреть от Ангары, через четыре поперечные, широко распахнутые улицы-деревни — и в первую же весну шальная талая вода пробила по ней канаву. Сколько потом ни засыпали ее, сколько ни трамбовали, другого хода вода знать не хотела и каждую весну, каждое ненастье с грохотом выпетливала от забора к забору, но как-то не зло, не обрушивая городьбу и постройки. Поэтому оказалось у Сбродной еще одно название — Канавка, которое со временем, когда стало забываться, кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так и говорили: живу на Канавке. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился пеший проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы, а от угла до угла тянулись стайки да огороды.

Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля, и ни вырубок, ни корчевки не потребовал. Корчевки ей бы не одолеть. А ограда вся оказалась в пнях, она выдрала их только лет через пять, оставив один — матерый, от ели, по колена высотой, огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, лепестковыми овалами, отростками от уходящих в землю могучих лап, взбугривающих пол-ограды. До самой смерти, глядя на этот пень, присаживаясь на него и отирая тряпочкой от грязи и пыли, жалела Агафья, что нет у нее внуков мал-мала меньше, которые с восторгом, криками и ссорами, отталкивая друг друга, громоздились бы на пень и в конце концов умещались бы на нем все, сколько бы их ни было.

Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на волокушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех нескончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопотать баньку, огораживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, двадцать пятое. Все заново, все единым навалом, никаких рук не хватает, чтобы успеть. Деревней переезжать — все равно что без огня погореть, а уж когда вся волость, вся долина на полтысячи верст попятилась с насиженных мест в тайгу, бросая могилы и старину, — такое переселение и сравнивать не с чем. Подъем воды обещали через год, но ведь зима на год не отставится, она на носу.

Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются.

А ведь, проживши на свете пятьдесят лет, она захватила еще старину. Краешком, но захватила. Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилинейная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней, она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночидали возле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье, и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские всполохи. Ну как тут было на вечерках не подать начин песни, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытапливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит и в песне тешится надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, нежная.

В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались сами собой под деревенскую ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаенными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказываемых не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно выдаваемых за «правдашние», такой жуткий накал, такая непереносимая страсть! «Вот воротился без памяти дядя Егор и лег... не верите мне, спросите у дяди Егора... вот лег он вдругорядь, и вдругорядь стук в окошко. «Выходи, дядя Егор!» — нечеловечьим голосом вызывают его. Он бы и рад не выйти, да как не выйдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика напугают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой ни мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!...» — И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно искаженных заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: еще, еще! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!

Агафья помнила лучину, а отец рассказывал, что помнит не только бычьи пу-

зыри на окнах вместо стекол, но и то, как печную трубу затыкали сверху, с крыши, и добавлял при этом с тяжелым недоумением: «Чего уж не могли догадаться изнутри заслонки делать, тут никакой особой хитрости не требуется».

Зато потом закипела такая смекалистая жизнь, что только успевай поворачивайся. И казалось Агафье, когда она раздумывала об этой жизни, что не похоже, чтобы ее и сто лет спустя можно было назвать стариной, что все больше выкореняется она, выходит на поверхность, и не вниз ляжет, как века до нее, плотным удобренным пластом, а выдуется в воздух.

* * *

Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — принялась Агафья таскать мох. Все равно пригодится, без мха, без конопати и стайка не ставится. Но вблизи уже подчистую выдрали его по речкам да по ельникам, на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и ходить пришлось далеко, с двумя туго набитыми мешками, один на плече, другой в обнимку сбоку, скатывающимися и сползающими, она ухайдакивалась не меньше, чем если бы встала за бревешки. Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить вниз под венцы листовничный оклад. Листвяки из лесу на плечах не доставишь. Делать нечего — пошла она опять к Савелию. Пошла уже в сумерках и не застала дома. Обошла кругом его избу и не узнала ее. Изба Савелия, сдернутая со своего родного места, от речки с ее неумолчным серебристым говорком, из-под двух громадных елей, сказочно стоявших сторожами по углам, с поляны, которая заботливо уводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставляла картинкой — здесь, в общем ряду на солнцепеке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую обдергайку с подслеповатыми окнами, откнувшуюся, где ей было велено. «А ведь он хозяин, у него руки золотые, — с тоской думала Агафья. — Что же у меня-то будет?».

Не застала она Савелия и рано утром; потом выяснилось, что он плавал в Еремину и тоже маял там душу, уже чужим человеком глядя на уютный и величавый убор, среди которого жил, — и на осиротевшие сразу ели, и на скорбную, потерявшую вид полянку. Даже речка лопотала теперь по-другому. Заночевал он в брошенном сеннике, от тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, которая не захотела с ним разговаривать и все отводила глаза. Агафья подкараулила, когда затарахтел, сбиваясь на отрывистый больной кашель, трактор Савелия, вышла навстречу и остановила.

— Ну так че, — согласился Савелий, задумчиво выслушав Агафью. — Привезем. И валить не надо, я знаю, где мужики с эстакады берут. Оклад, ясно дело, нужно листовяковый. — И, прищурив по обыкновению левый глаз, взглядываясь в нее, помолчал и добавил с чуть заметным нажимом: — Съездим. Может, завтра и съездим. Приди вечером, я тебе верней скажу.

«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это сказал, можно бы и догадаться. Ой, простота с пустого куста».

Вечером Агафья, отворив калитку, которая на скорую руку запиралась бесхитростной вьюшкой, наткнулась на Савелия во дворе. Маленьким топориком с крашеным желтым топоричем он вел по доске такую ровную стружку, что не надо и рубанка. И, оставляя дело, не воткнул топорик в чурку, а ласково положил поверх доски.

Все у него было уже на месте — высокое крылечко, и сени, заваленные всяким шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую зыбку. То и другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко бросать! — И Агафья как укололась о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она оставить в Криволицкой кросна. Им тоже, скорей всего, не бывать в деле — кто теперь садится за ткань! — да ведь не все же для рук, надо что-то и для сердца. Изба у Савелия изнутри смотрелась просторней, чем показывала с улицы, но и была она нарапах — ни заборки, ни печи. По полу чернели полосы от заборки, в левом дальнем углу, где стояла русская печь, сияли гладкой упругой белизной свежие половицы. Значит, и Савелий, как все почти в поселке, отказался от глинобитной печи, будет класть из кирпича. Железная кровать с панцирной сеткой, застланная лоскутным одеялом, стол, накрытый стершейся клеенкой, три табуретки — вот и вся обстановка. Возле стен навалом тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того неисчислимого подручья, что запрягается и объезжается в доме постоянно.

— Вот, — растерянно и мрачно сказал Савелий, пряча глаза, — такая моя хоромина. Сверху, видишь, не капает, тепло будет. — Он вдруг удивленно хмыкнул, точно ему удалось увидеть себя со стороны, в одно мгновение переломил себя, скрываясь за шутовской тон, весело предложил: — Перебирайся-ка ты сюда, дева. Чего мы будем вторую избу ставить!.. Перезимуешь... не погланется — весной поставим.

— Ты, никак, меня сватать задумал? — от неожиданности растягивая слова, спросила она.

— Задумал. Сватаю уж...

— Ой, да ты куда это заехал? Из меня какая баба! Ты че это? Ни сварить, ни обшить. Я все на бегу. Я вся на бегу, — поправилась она. — Ниче не умею. Ты че-то во мне не то увидал. Я выхолостилась уж не знай когда.

Это была не игра, не ломанье бабы, любящей узор и силу напора, сомневаться в этом было нельзя, и Савелию ничего не оставалось, как отступить. А ведь и не обидела даже баба. Он без натуги рассмеялся, прекращая «сватовство»:

— Глаза плохо видят, вот и не увидал.

На другой день, когда поехали за листовками, Агафья расспросила подробно, с чем остался он, вступая в новую жизнь. Но говорили они не в продолжение вчерашнего разговора, о котором молчаливым согласием постановлено было раз навсегда забыть, а совсем отдельно от него, совсем самостоятельно. Попытку Савелия сойтись постановлено было забыть, и все же, странное дело, после нее, ни к чему не приведшей, ничего не оставившей, кроме неловкости, стали они ближе, каким-то утешением, невесть откуда взявшимся, связались теснее, и все, что узнавала Агафья о Савелии, спрашивая его, укладывала она в свою душу поближе. Старшая его дочь по накатанной всеми деревенскими девчонками дорожке уже укатила в город, поступила в поварскую школу, младшая, четырнадцати лет, которой оставалось доучиваться в восьмиклассной школе год, вострила глаза туда же, а пока в учебные месяцы жила у тетки в райцентре. Старшая в мать, быстрая, легкая, смелая, а младшая тоже в конопушках, задумчивая, приземистая. И любит отца, и обижается на него за рябь на лице. Почти десять годочков помогала Савелию поднимать девчонок вместо матери взятая им за себя из райцентра, как он называл ее, «моя молодайка». Тогда, после войны, это было нетрудно — привести в детную семью молодую вдовицу с мальчишкой. Агафья видела ее, помнила: высокая, волоокая, красивая, глаза поднимала лениво, смотрела в упор. И себя, и

ребятишек, и избу содержала в чистоте, в деревенскую маяту впряглась без понукания, но к затянутой дремучими лесами Ереминой так и не привыкла. Еремина и из Криволуцкой смотрелась глухим углом, жизнь поживее шла правым берегом. Звали «молодайку» Пана. Умела она держать на расстоянии деревенских баб, за это они недолюбливали ее, но за ласковое обращение с девочками прощали ей все, а за то, что водила она девчонок на могилу матери, еще и не удерживались от чувствительной слезы. Так и жила — не своя и не чужачка; должно быть, так же, как деревенских, держала она на расстоянии и Савелия. Как в отпуск, уезжала на неделю, на две на аборт в райцентр, возвращалась осунувшаяся, неразговорчивая, отмякала не сразу. Баба в ней тянулась к Савелию, к его спокойному и красивому нраву, к сильным и умелым рукам, а неуступчивая, тоскующая по чему-то другому душа тянула к разрыву. Как раз начался переполох с переселением, скывываемый народ заметался, еще за год до того уехал в город в ремесленное сын Паны, потом поехала старшая Савельева дочь — и однажды утром в начале лета встала перед Савелием с окончательным решением и его «молодайка». Он ждал этого, чуял и удерживать не стал. «За десять лет возле девчонок я поклонился ей в ноги», — сказал он, и Агафья знала, что это не пустые слова, что так он и сделал; нет, было, было в нем что-то дальше.

Теперь вот перебрался на людное место, а один. Жить ожиданием дочерей, которые изредка станут приезжать гостьями на показ родителю? Но еще будут ли приезжать? Едут к матери, там неодолимая тяга плода, помнящего вынашивающую, утробную колыбель, к отцу такой тяги не бывает. А одиночество мужик выдерживает недолго.

Доставили листвяки, намаявшись с ними меньше, чем боялась Агафья, и в тот же вечер, не обрывая везенья, оконтурили гнездо для избы. Можно сказать, что зачали ее, голубушку, оставалось выносить да родить. Развернули хорошо: два окна будут смотреть на восход солнца и два — на дневной его ход. Впервые за последние месяцы, с той поры как угодила она в больницу, сердце ночевало у Агафьи на месте. И утром вскочила она весело, жадно, в нетерпении побежала к Савелию, чтобы раньше леспромхоза снять его на свою работу, застала его прежде чая, который только гоношил он на железной печурке во дворе, потом присела вместе с ним за стол и, подливая в кружки себе и Савелию, погружаясь в тепло от чая и от близости к нему, стала рассказывать:

— Я три дни назад на корову свою ходила поглядеть. Корову я ишо летом в общее стадо сдала... не насовсем, до подыма рук. Дом и корову в один обхват мне бы нонче не осилить. Я свою силу знаю. Ну и отвела, леспромхоз такое предложение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, мы будем содержать ваших коров до новой травки, до тепла, а молоко в столовую, в детский сад. Для меня это большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани стоят, гумно там под коровник приспособили.

Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Прихожу, у прясла стала. «Марта, Марта!» — зову, она у меня мартовская. Марта моя услышала меня, я вижу, что голос узнала. А стоит, не идет. Голову к земле пригнула, набычилась, в характер уперлась и никак, осердилась на меня, что я с хозяйства ее сняла. «Марта, Марта!» — я к ней с лаской, а она отвернулась и пошла от меня в дальний угол. Вот какая честная корова! Нет, перезимую, даст Бог, и надо за стайку братья. Ой, да когда бы не эта беда, не больница, разве бы я счас такая была? У меня бы разве две руки было?!

В тот день уложили они оклад. На разделке провозились с лиственницами долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с полным ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких резиновых сапогах... Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа на три. Когда лег оклад, как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опустился на еловый пенёк и потянулся за папиросами, а парень, как показалось Агафье, в ожидании ходил вокруг сделанной работы и, постукивая по лиственницам топором, слушал с восхищением тугой звон, сказала Агафья виновато:

— А мне вас и угостить нечем.

— Нечем — обратно вытащим! — развеселился парень. — Обратно в лес увезем. Заводи, друг Савелий.

После этого Савелий пропал. Агафья не искала его, но ждала, распрямляясь на каждый стукоток мотора. Нету — значит, нету в поселке, значит, турнули куда-то вместе с трактором. Леспромхоз о садившихся на его землю бывших колхозниках не особенно горевал, они — как мухи: если и пристынут от морозов, так оттают, но у леспромхоза уходило время, чтобы поставить гараж, мастерские, пекарню, подвести электричество, пригнать, пока есть дороги, технику, а работнички расползлись все по собственным стройкам, и выковыривать их приходилось чаще всего облавой: кого поймали, того и запрягли.

И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала — ничего: тянем-потянем — вытянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не дрожали мелкокошкой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять бы лет пораньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, бревешки-то, высохшие в стенах лет за пятьдесят от солнца и русской печины, не упрямые. Но не упрямые для матерого мужика, а для бабы? «Какая я баба? — одергивала она себя. — Одна затея бабья».

Еще поперед главного дела сколотила она каморку от дождя и зноя, пустила на нее старую драньевую крышу от избы. Савелий же подсказал, что крыша эта свое отслужила, в леспромхозе можно выписать тес, лесопилка пилит денно и ночью. Потом, позже, поставит Агафья в каморку железную печурку, чтобы погреться и сварить. Но ночевать она по-прежнему убегала в Криволуцкую... ой, да не на ногах убегала, а лётом улетала. До упади изматывалась, но только нацелит ногу на Криволуцкую дорогу — и себя не помнит, как добежит. Возле русской печи, брошенной под небом, и разбередится, и успокоится, как на родной могилке. Все свои страхи убаюкает сном, вскочит, придет в память, а они, страхи-то, снова ворохом насаждают, и надо торопиться, чтобы укладывать их в стены. Зато как хорошо потом, насадив на свое законное место венец, сесть без сил подле, прислонясь спиной к бревешкам, вытянув ноги в кирзовых сапогах, и чувствовать, как тукает-тукает в спину легкими толчками: оживали бревешки, вращая в одну плоть, начинали дышать. «От своих-то рук теплее будет», — и не различить уже было, от нее шли эти слова или они шли к ней.

Вот уже и поката задрала она вверх и взялась за веревки: подтянет бревно с одного конца, закрепит и тянет за другой, помучится, насаживая выемкой на нижний слой, чтобы не сбить мох, покорячится, чтобы плотно легло оно в углах в замок, но уложит и порадует... Вот уже пошли на две стороны оконные проемы и способней стало наваливать из-под рук — от живота рывком вверх — и там! Вот

уже и дверной проем, обороченный к Ангаре, поднялся Агафье в рост, и вот уже принялась она разбирать на две укладки, где потолочные плахи и где половые... Все на виду — ни огорожи, ни куста; торопится мимо мужик, наткнется глазами на бабу, муравьем тянущую на загорбке «щепку» втрое больше себя, выругается невесть на кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет. А застряв раз, идет в другой раз проверить, как там ладится у отчаянной бабы, не завалилась ли она с надрыву, и опять застрянет... Ищет на закате солнца холостежь место для сборища и приостановится в нерешительности, кто-нибудь побойчее крикнет:

— Что, тетка, пропустишь мимо своей стройки али нет? Какое будет твое укавание?

Агафья оботрет пот со лба, ей и этот окрик в помощь:

— Седни-то уж, так и быть. Проходите, щ-щупайте своих девок... А завтра этак же гаркни меня, я вам здесь работу найду.

— Ты шибко-то не ищи. Мы малолетки.

— А малолетков дома на привязи держат. Поворачивай домой.

И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул. Один плечо подставит, другой даст совет, третий пройдетя брусочком по топору и натешет клиньев и штырей, четвертый на ходу крикнет, чтоб звала ставить стропила, когда дойдет до них очередь, пятый везет мимо свежий лес и сбросит с машины с откинутым задним бортом несколько сутунков: «Это тебе на стояки под печку — будешь класть печку-то?», а Агафье до печки, до подполья и до стояков — еще как до второй жизни.

Но уже поверила она, что будет зимовать в своей избе. Упаси Бог вслух сказать об этом, она боялась даже ближние планы городить, все убывающее беспрестанно пространство до белых мух окидывая торопливо и суеверно — не сбилось бы что-нибудь в его ходе, не скомкалось бы... Зарядят, к примеру, проливные дожди — и нет недели, а то и двух. Всего боялась, а между тем сердце стучало все ровней и уверенней, все снисходительней к этим страхам, принимая их за выставляемую наперед по привычке защиту: где подстелена соломка, туда лихо не упадет. Погода стояла как на заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебесную тучное, ленивое тепло, с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовой Ангары добродушно погромыхивал гром, но отводил дожди в сторону и стояло сухо, томительно-хорошо. Гром наладился греметь, точно бой небесных часов, не могущих замедлить свой ход и поторапливающих, поторапливающих... С Ангары ему откликались и вторили протяжными тоскливыми гудками суда, уходящие на зимний отстой.

У Агафьи перепутались дни, принялись, оттесняя ночи, наползать один на другой, и она не могла припомнить, спала ли, и где спала, и какая работа была вчерашней, какая сегодняшней. Все реже бегала она на ночевку в Криволуцкую, дотягивая до последней минуты, когда уже и бежать было незачем, и все чаще в темноте подогревала чай в старой закопченной манерке, прихлебывала его без вкуса, заливая саднящий, долго не остывающий огонь внутри, ненадолго задумывалась, а уж в щелястую дверь каморки опять пробивался свет. Она перестала чувствовать свое тело, оно затвердело в грубое и комковатое орудие для работы; нельзя было поверить, что еще полтора-два месяца назад она лечила это тело от какой-то надсады. Кроме своей избы, она больше ничего не видела, оглядываясь на поселок, где по-прежнему царил беспорядок, но подросший, тянущийся вверх, выкидывающий, как на грядках, одинаковые заостренные головки крыш; прислу-

шиваясь к дробному, неумолчному стукотку топоров, визгу пил, она забывалась до того, что во всем ей мерещилась своя изба, двоящаяся, троящаяся, сотящаяся под слепящим солнцем в усталых глазах, и везде слышался разносимый эхом свой стукоток. Никогда, ни в какую жару не потевшая, носившая свое сухое тело легко и быстро, она стала потеть, высохла еще больше и выострилась грудью вперед. Сама себе говорила голосом Савелия: «А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь себе продыху. Вот так пополам и лопнешь». И сама же себе отвечала: «Но-о, лопну! Я посереде веза никогда не лопну. Не имею такого права».

И вдруг, ночуя в Криволуцкой, не смогла утром подняться. Нигде не болело, внутри была одна пустота, не держали ноги, нечувствительными плетями повисли руки. Агафья лежала на деревянной кровати, грубо сколоченной еще ее Чапаем, которую она держала как память о нем, лежала, только и сумев толкнуть в улицу низкую амбарную дверку, и слышала, прислушиваясь к себе, как в пустоте ее тела от дыхания ходит ветер. «Вся, че ли, вышла?» — с ясностью думала она, совсем просто и коротко, без досады и страха. В амбаре было прохладно, стены завешены одежкой, углы завалены всяким скарбом, от чугунов и кринок до деревянной лопаты для хлебов, от керосинового фонаря до резиновых сапог — все это ждало переезда, все прежде поторапливало хозяйку, а теперь скорбно притихло. Отдаленно и кисло тянуло запахом от мышей — еще с той поры, как в амбаре были сусеки с мукой. Солнечный свет не заходил за порожек. Там, за порожком, стояла нежилая, погасшая тишина, быстро дичающая, горчащая от брошенных печей, потом опять несердито зарокотал гром, научившийся не взбивать грозу, а ограждать от нее, на этот раз словно окликающий Агафью, — и она в ответ послала ему слабый и виноватый вздох. Закрыло солнце, дунуло коротким ветерком, зашумело сносимой листвой, и опять все стихло. Солнце не показывалось долго. Воздух в проеме стеклянно посинел, лес за ним стоял вогнутой искривленной стеной. И в дреме поплыла, поплыла от всего этого Агафья на другой берег, наклоняясь вперед и гребя руками, досадливо взмахивая, когда руки не доставали до воды.

Не поднялась она и на второй день, но полночи проспала в полном забытьи и проснулась со слабой завывающей болью в теле. Вспомнив, что за сутки маковой росинки не брала она в рот, Агафья заставила себя спустить на пол ноги, заставила подняться, со стоном, кряхтением и кашлем сделала два шага до фанерного ящика, где давно черствела буханка хлеба, уже казенного, из пекарни, отломилась кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик. Хлебешек она хотела пощипать на порожке, но ни кусок не лез в горло, ни высидеть пяти минут не могла. Пришлось снова лечь — так, с куском хлеба на груди на темной мужской рубахе, и заснула опять, с особой остротой чувствуя во сне, как сереет, становясь пористым, небо и подкрадывается дождь. Просыпалась, убеждаясь, что и верно набухает видимый край неба над горой, и опять неудержимо утягивалась в сон, снова просыпалась, слушала с минуту жесткое шуршание дождя о землю и крышу и еще стремительнее забывалась.

Изба к тому времени стояла у Агафьи под стропилами и был настлан потолок. Некстати свалилась она, некстати пошел и дождь, но когда ж в такую страду это вышло бы кстати? Дождь начался крупным и резким боем и точно взбил тепло от нагретой земли — через час не по-осеннему помякло, смиренно и скучно притихло и замаяло, занудило сверху липким сеевом. Промаяло сутки, затем подула холодная низовка, и дождь отступал уже злее, с белыми мухами. В Криволуцкую притарыхтел на своем тракторе Савелий и застал Агафью сидящей на кровати.

На полу валялись хлебные крошки, перевернутый ковш лежал на постели в ногах. Сидела Агафья склонившись вперед, опершись вытянутыми руками о колени, точно приготовившись к рывку. Обута в сапоги, на плечи накинута телогрейка. Лицо еще больше заострилось и в то же время разгладилось, доболела она до кости, на которой морщины не держатся. Савелий тотчас поставил диагноз:

— Надорвалась. Дурная ты баба!

— Споткнулася, — поправляя, сказала Агафья.

— Обо что споткнулася?

— А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! — и на ногах!

— Ты научись стоячи спать, — подхватил он. — Научись-ка! Как кобыла, которую не распрягают. Или того лутше — на ходу!

— Так а че... — неопределенно вздохнула Агафья, как будто и соглашаясь. — Я так-то не сонливая. Упаду да вскочу, упаду да вскочу. Я ни один сон, однако что, не досмотрела. А тут как в пропасть утянуло, как в болото.

— Встать-то сможешь?

— Вста-а-ну! Это мне нипочем. Седни же встану. А завтра на избу. Видал ты мою избу?

— Видал.

— Ну и че?

— Вся в хозяйку. Хвалится на всю округу, а ее, безголовую, бескрышую, во все дыры мочит. Ты, Агафья, баба храбрая. Но ты баба неумная, ты алчная до работы. Ты погляди: че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не выгадала, а прогадала. Избу свою ты, конечно, возвысила... А ведь все равно: там начать да кончить. Ты там здоровая нужна.

— Начать да кончить, это верно, — согласилась она, кивнув и надолго оставшись с мелко кивающей головой. — Это уж верней верного.

Утром она сумела подставить под себя ноги и в три приема одолела дорогу из Криволуцкой. После обеда Савелий привез на лесовозе тес, выгрузил его вместе с шофером лесовоза, напугав кинувшуюся помогать Агафью решительным окриком, но потребовалось обрезать доски, и уже она не менее решительно прикрикнула на Савелия, когда он попытался отнять у нее ножовку. Дул холодный порывистый ветер, в лицо бросало лиственничную хвою с недалеких лесов, и Агафья все скидывала глаза, все глядывалась с опаской, не снег ли опять. По небу быстро несло леденистые тучи, в поселке топились печи и с крыш сбивало в несколько дней полинявшие белесые дымы. Топилась железная печурка и в каморке у Агафьи. Савелий дважды в приказном порядке отправлял ее подогревать чай, шел вслед за нею, чтобы тут же не выскочила обратно, и мучился от безвкусной распаренной жидкости. Толку в чае Агафья не знала и подогревала его вместе с заваркой. Мучился и все больше убеждался, что, не умея угодить себе, не угодила бы она в хозяйках и ему, и что была она умнее его, не согласившись на общую жизнь.

На другой день, а день уже тихо, задумчиво, но прохладно и тускло золотился под солнцем, закрыли они избу. Тес был сырой, Савелий вздыхал со стыдом, набивая тяжелые молочнистые доски, — но когда же их было сушить? — и набивал внакладку, ведя крышу сразу с двух боков. Агафья подавала тесины снизу, подпрыгивала, набрасывая их на потолок, и, когда Савелий спрашивал, не умаялась ли, радостно, возбужденно выкрикивала:

— С чего? С чего умаяться-то? Ты уж меня совсем-то за клячу не принимай.

Сырой тес, а лег доска к доске на два блестящих, играющих белизной и новизной ската, как засиял уже в сумерках, когда, пристукнув в последний раз по крыше топором, спустился Савелий вниз, — будто свет заструился над избой, и встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок. Шел мимо Кеша Осоргин, как он сам называл себя, «бессрочный старик», по той причине, что не знал своего года рождения, был, как всегда к вечеру, пьяненький, переживая невиданную славу, неслыханный спрос на себя: никогда еще не случилось, чтобы всем сразу потребовались печи, но тут так и вышло, а Кеша был печником, притом печником хорошим. Шел он и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзительным голосом, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:

— Как седло на корове!

— Зато какое седло! — не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно посмеиваясь, сказал: — Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато сейчас... сверху, с самолетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не иначе — большого начальника.

Агафья и ночью выходила постоять возле избы. Мелконько, притушенно мигали звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволицкой... В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом... А над ее, Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. «Ну и поживу ишо, — оброчно и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. — Ой, да че ж не пожить-то, ежели так!..» Она поискала в небе — Стожары стояли еще высоко и ночи впереди было много; знобко зевнула, прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках укачало — вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок.

И опять она заторопилась, заторопилась. Зима подгоняла — это само собой, но и помимо того подхватил ее опьяняющий порыв, сродни любовному, какой бывает у девчонки, когда только одного она и видит во всем свете, только к одному и влечется, а вся остальная жизнь — как кружная дорога, чтобы переполниться тоской. Только одно и знала Агафья — скорей, скорей к избе, только там она и успокаивалась. Просыпалась среди ночи, пронзенная нетерпеливым толчком, и не могла дожидаться: «Где же это утро-то заблудилось?», отрывалась от работы, чтобы сбежать в магазин за хлебом, а там очередь, хлеб из пекарни обещают «вот-вот», но десяти-пятнадцати минут не в силах она была выдержать и бежала обратно: «Че ж я, без обеда, че ли, не перетерплю?» Не успевала закончить одно дело, а руки уже просили другое, и чувствовала она, как придвигается к ней новая мера работы.

Савелия снова угнали надолго на лесосеку, но Агафья совсем без страха, даже с тайной радостью осталась одна на стройке. Она натаскала на потолок землю, отрывая одновременно яму для подполья, одна поставила дверную и оконные коробки, настелила черный пол, а потом и верхний, чистый, изредка зазывая с улицы кого-нибудь из мужиков для короткой подмоги и совета. И успокоилась, стала лучше спать, заставляла себя отрываться на варево, чтобы не ссохся желудок. В ясные вечера полюбила, одевшись потеплее и устроившись на высокий еловый пень, показывать себя рядом с избой, заговаривать с прохожими, узнавать у незна-

комых баб, кто откуда, полюбила, греясь под вниманием, чтобы окликали и ее, но, упаси Господь, чтобы засиживалась она дольше, чем вскипеть чайнику.

Настал день, когда и чайник закипел в избе, куда Агафья перенесла из каморки железную печурку. Но к той поре она и в улицу выглядывала из застекленных окон. К той поре впритык к стене под окнами у нее уже был сложен кирпич, за которым гоняться не пришлось: услышал об отчаянной бабе, в одиночку собиравшей избу, директор леспромхоза и приказал доставить ей кирпич без очереди. Зато потом три дня ходила она за Кешей Осоргиным, зазывая его на кладку своей печи, терпела Кешино балагурство и пьяненькую похвальбу, уже на другой день обнаружила себя в подручных у него, замешивающей раствор и подающей кирпич, но при этом зорко высматривала, как ведет Кеша печные ходы, а, высмотрев, отстала и сложила печь сама.

Затопила она ее уже в ноябре. Уже остыло солнце, не грея, а глядя бледными лучами, уже налетали с низовой ветры в белых ряднах и нещадно трепали оголенные леса, уже тускло опустилось небо, а по Ангаре несло шугу, когда пустила Агафья дым. Среди дня набрались сумерки, предвещая снег, из-за окон доносилось, с какой порывистостью дышит вступающая в мир зима. И гудела печь, выбрасывая из дверцы трепещущие блики. Агафья придвинула табуретку, села подле дверцы, протягивая к ней руки, и, ощутив первое тепло, пробежавшее по рукам и лицу, сказала в окно:

— Ты не обробела, да ведь и я, матушка, успела. Так-то.

Ночью она лежала без сна, слушала, как кряхтят в углах набирающие тепло стены, как тяжело отдыхивается после топки печь, вспоминала детские страхи от рассказов о леших и домовых, и хозяйской, ничего не упускающей мыслью решила: «Ниче, я сама буду домовым».

* * *

Прожила Агафья после этого без одного года двадцать лет. Безвылазная работа никого не щадит, и Агафья состарилась рано, но не так, как в себя впускают старость каплю за каплей, а точно переодевшись в нее однажды раз и навсегда и дотаскивая до последней мочи. И верно — ходила она постоянно в темном, обходясь двумя-тремя длинными юбками и двумя кофтами фабричной вязки под телогрейкой, тонкие кожаные чирки после переезда заменила на кирзовые сапоги, бесшвенные в сушь и грязь, с головы не снимала подвязываемого под подбородком то ситцевого платка по теплу, то шерстяного. Лицо у нее тоже потемнело и выткалось бисером частых и тонких морщинок, по которым, умей кто читать, прочитались бы однообразные подробности жизни. Руки в те короткие перерывы, когда они не были заняты делом, держала Агафья у живота, в укладку, давая им покой. До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с поднятой головой, и никогда не говорила «пойду», только «побегу». Не жаловалась ни на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгновение нанизывала их на нитку. Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам «лихоманки», которая налетала на нее раза два в году и подсекала безжалостно, так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку жечь сучья, пока нехватила ее однажды «лихоманка» в лесу. Позднее пожалели Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, попробовав Ага-

фьиных каш и раз, и другой, и видя искреннее простодушие, с каким не понимала она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзак тушенки и уже навсегда проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в 24 рубля.

Она держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до поздней осени. Под стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволуцкой сначала свой амбар, а потом и чужой, совсем худенький, брошенный. Опять катала бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то слеги, вытягивая из грязи вокруг мастерских и гаража бесхозные доски. Разодрала огород и загородила его, в первые годы накапывала картошки по пятьдесят — шестьдесят кулей. Поставила ограду — тыновую, высокую, что тебе крепостная стена. Все из-под Агафьиных рук выходило не по линейке, вразнобой и вразнохлыст: столбы не держали строя, тын то приседал, то вытягивался — зато прочно: те же столбы уходили в землю на полтора метра, сени смотрелись жилым пристроем. Экономить силы она не умела, но каким-то загадочным круговоротом они возвращались к ней, и, не мешкая, она устремлялась на новую цель. Да ведь и обиходный круговорот со скотиной и огородом, с избой и тайгой шел непрерывный. Один сенокос чего стоил! Ни одной копенки ни разу она не прикупила, всегда обходилась своим, и каждую осень два зародчика вставляли за стайками в огороде, будто там и росли. А тайга! Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили ноги, бежала колотить кедровую шишку, в три раза далее того по криволуцкой тропе шла брать чистую рыбу в Илеме, потому что в подпруженной Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушканов, покуда не распугали их леспромхозовской войной против леса.

Агафья не была скупой, напротив, считалась простушей и могла не пожалеть последнего, но к деньгам у нее было старинное отношение, не дающее им воли. Ей удавалось продать понемножку то молоко, то мясо, реже картошку, но, с другой стороны, и хлеб надо было теперь покупать, а не из квашонки наставлять в русскую печь, и за простенькой мануфактурой отправляться в сельпо, а не шить из самотканой холстины, и сено из-за хребта, где сенокос, на лошадаках теперь было не привезти, потому что вывели тех лошадок, и расчет пошел на бутылки. Не добыть комбикорма, не засветить электричество после шквального ветра, замкнувшего провода, не забить борова, не раскряжевать на дрова хлыст... Воду и ту, качая ее из скважины, стали привозить за деньги. Тут деваться некуда, тут хочешь не хочешь, а расплачивайся. Но с удивлением и стыдом смотрела Агафья на мужика, покупающего в магазине топориче, или на разъевшуюся, поперек толще, бабу, нанимающую работницу копать на трех сотках картошку. Не карман этого мужика и этой бабы она жалела, а сами деньги, попавшие в несерьезное место, где им не знают цены. Полоруких развелось — через одного, и, как всегда, когда полость обнаруживается в неполюженном месте, в другом неполюженном месте появляется у человека язвенный нарост, вроде пьянства. Никаким новым обычаем было не сбить Агафью: деньги должны идти только на нужду, быть только пособием в недостатке, все, что сверх того, пользы не принесет.

Со своим хозяйством колхозных 24 рублей Агафье хватало вполне, из этого же прихода она умела выкроить избыток, который два раза в году отправляла по почте дочери в город. Дочь в ответ откликалась на Рождество открытками. Прочитать их было невозможно ни грамотному, ни безграмотному! Агафья узнавала руку, выводившую три или четыре короткие и размашистые волнистые линии, подолгу изучала цветную картинку на обороте, отдаваясь этому занятию с при-

ливающей нежностью к чему-то неизведанному, прошедшему мимо ее жизни, с неясным вздохом укладывала открытку сверху в ту же пачку, что и все остальные, хранившуюся на посудной полке за горкой фарфоровых тарелок. Дочь не изъявляла желаний приехать, а Агафья и не звала, не зная самого простого — как звать и зачем? В молодости она умела писать, научившись рядом с дочерью, когда та бегала в школу, потом забыла. Читала тоже с трудом и по печатному, печатными же заученными буквами крупно выводила половину своей фамилии, когда требовалось расписаться за пенсию.

У Савелия, пока он оставался в поселке, бывала часто. Угощаться не любила, она и везде-то, в любом доме чувствовала себя за столом стеснительно, а усаживалась у Савелия подле дверей на лавочке, ревниво убеждалась, что обихожена изба мужиком лучше, чем ею, бабой, и начинала разговор с одного и того же:

— Ну, так че решил?

Савелий долго жил в раздумье, переезжать или не переезжать в райцентр. После перетряски ангарского народа там, в райцентре, оказались у него два двоюродных брата из ереминского рода, там жила свояченица, младшая сестра умершей жены, не переставшая считать его за близкую родню, звавшая особенно настойчиво, оттуда было ближе до дочерей, там подворачивалась подходящая избенка для купли, вполне по карману, если здесь продаст он свою в леспромхоз. Со всех сторон выходило, что прямой резон ему, одинокому и стареющему, перебираться. Но он медлил. Медлил еще два года и после того, как ушел на пенсию. Присмотренную им избенку продавали, находилась другая — продавали и ее, и он, ругая себя, но и успокаиваясь, снова и снова застревал. Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопущками сучков, сверху с остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном углу. Агафья, увидев красавец-буфет в первый раз, так и ахнула:

— Нет, парень, тебе в рай-ён надо, в рай-ён. — «Рай-ён» выговаривался у нее с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. — Об таких руках тебе тут делать нечего... — и несколько раз за вечер подходила погладить буфет, понежить руку.

Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным духом. Потом, не спрашивая, привез курятник. Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но привез Савелий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже, — ну и что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения.

Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по утрам совсем по-зимнему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух. Только что пробили наконец дорогу по горе вместо старой, затопленной, а до того шесть лет водой и тайгой были отрезаны от мира. Савелий взял в леспромхозе бортовую машину, еще с вечера загрузил ее, оставив на ночь в своем дворе, и уже в темноте постучал Агафье, чтобы она зашла попрощаться.

А она и не знала, что он наизготовке, что осталась последняя ночь.

Ярко светила голая лампочка под потолком, освещая пустые углы, об нее с бешенством бились злые последние мухи. Изба была хорошо вытоплена и чисто прибрана в своей пустынности. Чай пили за кухонным столиком, вынесенным в прихожую, этому столику отказано было в переезде. На плите тягучею мирною песней посапывал чайник ветеранского, закопченного вида, тоже никуда не собиравшийся. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом горка дров, на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном зимовье перед уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприимство.

Агафья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, хрумкала и вздыхала. Савелий, оставив возле двери сапоги с коротко обрезанными голенищами, ходил в толстых шерстяных носках и в толстой же, навывпуск, старой вытертой рубашке, сшитой из шинельного сукна; лицо изжелта-красное, сквозь дряблость разогретое, беспокойное. Он подливал себе чаю и рассказывал о двух молодых учительницах, приходивших днем, которые будут жить в его избе. Одна показалась ему совсем ребенком, и, на износе своей жизни разучившись угадывать, где шестнадцать лет и где двадцать, он удивлялся:

— Ручки тоненькие, ножки тоненькие, личико вострое, как у зверушки... Конфорку с плиты подняла и чуть не всю головушку туды затолкала. Францужанка, ребятишек будет не по-нашему обучать. Я говорю: у меня печь жаркая, вы трубу не торопитесь закрывать, не дай Бог угорите. А вторая, посерьезней будет, поглаже... эта арифметику будет давать. «Вы, — говорит, эта-то, говорит, — сколь раз на дню, ежели по зиме, печку топите?» — «Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил мороз — одного раза хватит». Францужанка, из себя вся тоненькая, а голос ниче, голос с натягом, говорит: «Каковая, значит, продолжительность топки?» — «Продолжительность топки, отвечаю, до ломоты в кости». — «Нам леспромхоз, — они мне докладывают, — должен бесплатно топливо доставлять... мы, значит, интересуемся, сколь кубометров заказывать...» — «Э-э, — говорю, — девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам столько и вполовину не сжегчи. То ли обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет оказать. Живите со спокойем».

Агафья смотрела на Савелия печально: он не был разговорчивым, и, если разговорился, да еще как-то не по-мужицки, с подробностями, стало быть, не по себе ему. Только-только начали привыкать к новому месту, только разобрались, что впереди, что позади, — снова срывайся и кочуй, снова вместо прямого хода жизни завал в сторону. Агафье этого ни за что бы больше не вынести. Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он как-то не по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если бы таким же макарком, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом онемели бы от неожиданности.

— Там тебе климатней будет, — сказала и на этот раз Агафья.

— Везде хорошо, где нас нету.

— Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, скажу я тебе, Криволицка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта... как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову... Зову и зову.

А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть давно бы уж опостылела.

Ни одному-то сердечному делу она не научилась. Не сумела и попрощаться с Савелием. Только и сказала обвисшим голосом, мелкими шажками отступая к порогу:

— Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу.

Через два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в живых. В несколько месяцев его загрыз рак. Агафья решила: «На мягких, на покладистых людей и болезни накидываются легче. Они и для болезней слаще». И без жалости подумала о себе: «Ты-то вся из одной людской запусты, на тебя и там спросу нету».

Много спустя, уже когда умерла дочь и где-то торилась и для нее самой дорожка к отбытию, приснился ей сон, поразивший ее откровенным своим смыслом. Сон такой: у себя в избе сидит она на полу, неловко подвернув ноги на одну сторону и кренясь на другую, и смотрит, смотрит неотрывно перед собой, ничего не видя... Справа от нее лежит дочь, слева Савелий.

— Ты, мама, лежишь? — спрашивает дочь.

— Нет, сидю.

Чуть позже голос Савелия слева:

— Ты легла, Агафья?

— Ишо сидю.

Через полгода под самый Покров, укрывающий землю белым саваном, накрыли и Агафью в домовине белым полотном и снесли на погост, поставили над нею тяжелый лиственничный крест. Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась ночью в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлест бил и бил ставнем по окну, пока не обратили внимания: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать ее, а она уж далеко.

* * *

Изба осталась сиротой, наследников у Агафьи не оказалось. Зиму простояла она безжизненной — ни дымка, ни огонька, с закрытыми наглухо окнами, оцепевшая, безуходная, холодная, скорбная. Снег завалил ее снизу и сверху, только ставнями и чернела она, уткнувшись в сует. Люди отводили от нее глаза и, избегая ненужных размышлений, торопились пройти мимо. Ходило над нею холодное солнце, выли метели, с грохотом проносились по улице лесовозы, звучали голоса ребятишек, возвращающихся из школы, — ни на что Агафьиная изба отозваться не могла, умершая безмогильно, наводящая на живых тяжелую тоску. Соседние избы невольно отжимались от нее, нахоженная по снегу тропка по переулку делала стыдливый отворот.

Где жизнь, туда и весна приходит раньше. Уже всю бежала капель, булькали по улицам ручьи, уже и канава в переулке вздыхала томно и нетерпеливо оседающим снегом, а Агафьиная изба по-прежнему коченела все в той же стылой неподвижности. Она и на избу перестала походить — так, строение, выпятившееся на глаза, неуместное, отягощенное собою, вызывающее неловкость.

Потом кто-то догадался открыть ставни. Всего-то и надо было — дать свет в окошки. И задышала изба, очнулась, натянулась вся, подставила солнцу малень-

кие ослепшие глаза, заслезилась, принимая тепло, и за два дня скинула с себя смертный вид.

— Господи! — крестились бабы, оборачиваясь на избу. — Будто Агафья воротилась.

В те годы леспромхоз был в силе, работники зарабатывали хорошо, и ни парни, ни девки из поселка не убегали. Летом в Агафьиной избе поселилась молодая семья Горчаковых с годовалым парнишкой, решившая жить самостоятельно, отдельно от родителей. Вася Горчаков, сутулый неразговорчивый парень с длинными, постоянно тревожными руками и с втянутой в плечи большой головой, был золотой работник в лесу, на трелевке, но не лежали у него руки к чужой избе, которая требовала то доски на замену оторванной, то поправки завалинки, а то просто молотка. Дождь мочил в сенцах, непогода бухала чем-то на крыше; пол-огорода запустили сразу же, стайки, сарайки оказались вовсе без надобности, курятник, тот самый, от Савелия, выбросили. У молодых были свои вкусы, а от курятника пахло. С месяц пролежал он на боку под открытым небом, пока кто-то не пожалел и не прибрал. Стеша, Васина жена, мясистая и медлительная 18-летняя деваха, не нажившая еще привязанности к своей семье, какая-то отвлеченная, часто уходившая с ребенком ночевать к матери, и не пыталась наводить уют в этом временном и случайном жилье. Только покрасили полы, у Агафьи они были не крашены, Агафья по старинке скребла половицы косарем и натирала песочком. И все равно держался в избе какой-то древний, словно бы и не человеческий, пропитавший стены, острый даже в своей угасшести, мускусный запах, вызывающий у Стешы аллергию.

— Смертью, что ли, пахнет? — Постоянно морщилась она, напрягая большие открытые ноздри и вздрагивая чутко, по-животному, с пробегающей по всему телу дрожью.

Она и не заметила, не пытаясь привыкнуть к избе, что в сенцах перестало мочить. Вася заметил. «Затянуло чем-нибудь дыру, — решил он. — Обошлось без меня». И забыл. Но однажды, уже осенью, когда Вася ночевал один, его разбудил среди ночи стук — будто в чьих-то руках молоток погуливает по крыше. Он не поленился, вышел — никого, в мозглом сыром рассвете, как в трясине, едва проступали очертания домов, стояла вязкая тишина. Приблизнилось. Но ложился обратно в постель Вася с мыслью, что надо сегодня же, не откладывая, поговорить со Стешей и соглашаться на половину двухквартирного дома, который скоро достраивают, не ждать, как они собирались, следующего, получше.

Но и этот, первоочередной, сдали только к лету. Последние два месяца Стеша доживала у своей матери, Вася у своей. Не слепилось гнездо в Агафьиной избе — ругались, болел парнишка, Вася сломал ногу, притом совершенно по трезвому делу, направляясь к теще за молоком; Стеша давилась воздухом, не могла спать. Съехали. Въехали, не спросившись, и съехали, не поблагодарив, не прибравши за собой, как положено, хлопнув дверью... Вздохнула Агафьиная изба, прощаясь, — так тяжело и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная плоть.

Следующие постояльцы прожили года три. Эти — пили. Пили зло, беспощадно и тихо. Неведомо где провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, отвели, должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их и направила сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то картошку окучивать или копать, то наколотые дрова складывать в поленицы, в

пожарных случаях, когда уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом ходили за ягодой и продавали, зимой искали мелких поручений: воды с берега на чай принести, потому что из скважины вода в чае была невкусной, выбросить из стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На ежедневное истребление зелья заработков от такой работы не могло хватать и в десятой доле — выручал большой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за неразлучность звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом они чуяли, где собирается компания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от дома. Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и не однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских владениях, выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, вокруг клуба, гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился с лесосек лес. Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать порожнее стекло, подмигнет он Кате-Ване и ведет разгрести кладовку.

Чем не жизнь! — так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за безвредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с краешку, с трех-четырёх грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и сеник, и все темнели и темнели изнутри их покорные лица, превращающиеся от постоянного жара в головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, наваливаясь друг на друга, выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, а это, которому подчинились они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они выдержать не могли.

В ноябрьские праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и тем еще, что на них выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней в Агафьину избушку в беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью кто-то из них взялся растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная дверца потом оказалась распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и управилась с огнем. Полностью выгорела заборка, отделявшая кухню от прихожей, не уцелела и стоявшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней нашли в сенцах, едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись.

С тех пор Агафьина изба пустовала. Для поселка начались другие времена — лес брать становилось все труднее, везли его издалека, заработки упали. Есть предел и Божьему, если выбирать его без меры. Одною зимой делали возле нижнего склада сплотку прямо на льду, переложили тяжелой лиственницы, и весь плот в тысячу с лишним кубометров ушел весной на дно. Это как знак был: осторожней! — и его не распознали. И стала год от года ужиматься в поселке жизнь: меньше давала тайга, безрыбней становилась распухшая, замершая в бестечье Ангара, все реже стучали топоры на новостройках. А потом и вовсе ахнула оземь взятая ненадежно жизнь и покалечилась так, как никогда еще не бывало.

Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалялась под жгучей низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять отеплялась солнышком. Заходили в ограду люди — изба стояла как на пупке, и видно от нее было на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир — таким он смотрелся уста-

лым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку повздыхать, и столько здесь скопилось невыразимых вздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец.

Если же кто из проходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как будто даже поскоблена, головешки и хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри. Дышится не вязко и не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы, фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры.

Видение

РАССКАЗ

Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну, и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдет, отзвучит одна волна, одногласо, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днем, а днем этого не бывает. Я отчетливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом на столике, — достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызванивающийся, невесть откуда берущийся, невесть что говорящий сигнал завораживает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо всем остальном забываю. Страх при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше?

Что это? — или меня уже зовут?

В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это мое имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черед. Сколько раз за тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл ее, все существо мое умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои все чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен еще на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут

вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и все, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях. Все чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня поставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умиленными слезами, что готов был раствориться в нем вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолетного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших отпечаток в душе, — не знаю.

И это что-то из осени, совсем поздней осени.

Люблю и я «пышное природы увяданье»... Да и как не любить его, если весь год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выставить под приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобождающийся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчетливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — все в разноцветном наряде и все хороводится, важничает, ступает грузной и осторожной поступью... И все роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. «Бабье лето» теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре еще зелено, ядрено, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем готовится без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным севом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.

Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что приходит после дождевых и ветровых трепок, высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая. Остывающее солнце еще пригревает, воздух кажется застывшим, последние листочки срываются и падают медленно, выкланиваясь и крылясь; земля порыжела и пригнула к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают большие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, тенетится высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревьям стоят присадисто — точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с бледненьким заревом и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. Это особая, неразгаданная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается что-то вечное, властное, судное.

Вот и за широким окном из комнаты, в которую я неизвестно как попадаю, я вижу эту же пору поздней просветленной осени, крепко обнявшей весь расстилающийся передо мною мир. Где, в каком краю эта картина так легла мне на душу, чтобы являться снова и снова, я, повторю, не помню. А может быть, нигде и не встречалась, а произвольно составила под пером самописца в моем сознании: мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, — и, как знать, не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыгаться не по вызову, не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем.

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней дверь, огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса и двумя фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за нее. Мое место у окна в низком легком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе.

У правой стены стоят два темных глубоких шкафа грубой и прочной работы. Подозреваю, их специально искали, чтобы они не могли оскорбить достоинство моего кресла. Они не мои, но в них мои книги из домашней библиотеки, мною же, похоже, отобранные, самые близкие. Напротив у другой стены такой же шкаф с моими игрушками — коллекцией маленьких колокольчиков, свезенных чуть не со всего света, — стеклянных, фарфоровых, глиняных, деревянных, медных, чугунных, каменных — самых замысловатых форм и фигур. В них тоже много меня: я люблю смотреть на них, прежде чем начинать работу. Когда я доволен собой (а это случается редко), я подхожу и люблюсь ими до тех пор, пока не услышу нежное переливчатое многоголосье, повторяющее и добавляющее мои фразы. Первые звуки появляются раньше моего прикосновения к колокольчикам, их выкачивает стеклянная девушка в красном платочке, повязанном под подбородком: с коромыслица, перекинутого за головой по плечам, свисают два крохотных ведерка. В них и раздаются хрустальные всплески. Затем вступает добрый молодец с приподнятой шляпой, в которой и спрятан язычок, выговаривающий приветствие. После этого я позволяю всему колокольному царству встрепенуться и сыграть здравицу в свою честь. Честолюбие ведь можно удовлетворять и таким образом.

Это не комната воспоминаний; да и я словно бы лишен возможности оглядываться назад. Я нахожусь здесь для какой-то иной цели. И внутри комнаты, и за окном, и человеческими руками, и нечеловеческими, все обставлено с печальной и суровой однозначностью; продолговатая, суженная обитель для одного переходит в суженный, вытянутый вперед мир, окружающий уходящую дорогу.

Но нельзя наглядеться на этот мир — точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы.

Слева рукав тихой небольшенькой речки, теперь и совсем застывшей, извилистой и с низкими берегами, на которых голо и склоненно стоят березы, по две, по три на одном корню. Справа за лысым бугром, краснеющим глинистым боком, россыпь молоденьких мохнатых сосенок, сбегаящих с горы, за ними, вырисовывая высокий волнистый горизонт, стоит лес. Между речкой и бугром проселочная дорога — ненаезженная, с необбитой посередине сухой гнущейся травой. Дорога петляет, повторяя изгибы речки, затем ныряет в низинку, перебирается по черному деревянному мостку через речку и тут на белом каменистом береговом расшире теряется. И только на вземе в километре от мостика появляется вновь — удивительно преображенная, гладкая и прямая, с блестящим серым полотном.

Эта внезапно изменившаяся дорога и не дает мне покоя. Один ее конец, ближний ко мне, простохожий и разлохмаченный, никак не связывается с другим — аккуратным, выверенным и отглаженным. Никаким узлом соединить эти концы

нельзя, новый непременно выскользнет из старого, как барская рука из мужицкой. Меня так и тянет посмотреть место их сращения. И еще кажется мне, что, если бы пришлось ступить на новую дорогу, она бы, как эскалатор, покатила сама. Но она и непустынна: при начале ее перемены стоит справа черная вековая ель, тяжелая, с низко опущенным широким подолом, а за нею, выглядывая углом, совсем новая деревянная избушка, янтарно сияющая, сказочная, с односкатной, в мою сторону, крышей. И, как в сказке же, живет в ней старичок, выходящий на травянистую обочину дороги. Видна его крупная и белая непокрытая голова, видно, что роста он небольшого. От меня не разглядеть, куда оборочено его лицо и во что он всматривается, но, чтобы подолгу стоять неподвижно, надо во что-то всматриваться, чего-то в терпении ожидать.

Который уж день держится неземная, обморочная стынь, совсем заговорная, наложенная колдовской рукой. Так смиренно и красиво склоняются березы над водой, так сонно переливается речка, так скорбно белеют камни на берегу, где пропадает дорога, и с такой забавной поспешностью застыли справа сосенки, прервавшие спуск с горы, что в сладкой муке заходится сердце, тянет смотреть и смотреть. Что это — жизнь или продолжение жизни? Солнце тихое и слабое, с четким радужным ободом по краям, на небе лежат тонкие и сухие дымные облака, неподвижные и точно бы вросшие, теряющие очертания. А по земле листва уже впиталась в почву и больше не перекатывается, не шумит. Оголенный лес не кажется голым и бедным, он успел сделать перестановку и в местах ветробоев выставить теплым укрытием где сосновый строй, где еловый. Над лесами, над взгорьем и речкой раскачиваются длинные и печальные, все затихающие, все слабеющие вздохи.

И вот сидишь у окна в удобном продавленном кресле, смотришь то перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от другого и не собирая увиденное в связные мысли. Томно синее небо, навевается и навевается тьма от земли, постепенно накрывается ею и моя комната.

Я уже привыкаю к ней, я уже говорю: моя.

И вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении, я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где стыннут березы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры... Я стою среди них и думаю: видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл — и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!

Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди берез к мостику, ступая радостно по твердой земле, затем спускаюсь под яр на галечник, поднимающий под ногами шум, — здесь течение быстрее и чище — снова взбираюсь на землистый яр и всхожу на мостик, по краям которого бортиками лежат стесанные сверху и снизу бревна. Они лежат давно, и почернели, почернел и настил деревянного мостика, всеми забытого, ибо ни одной души не видел я возле него, с тех пор как поселился здесь, и печального, чего-то долго ждущего... Но чего он ждет, зачем он выстроен? Я сажусь на боковину верхом, чтобы наблюдать ту и другую стороны света по речке и за речкой, куда уходит дорога. И долго сижу, борясь с желанием перейти через мостик и ступить на белые и круглые крапчатые камни. Даже в моих представлениях я не решаюсь этого сделать. Могучим и зата-

енным дыханием ходит, шевеля мое лицо, поднимаясь и опускаясь, воздух, морок сумерек настывает, и лес справа с острыми верхушками елей начинает темнеть все больше. «Хорошо, хорошо», — нашептываю я, и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали.

Обнаружив себя затем в кресле, я продолжаю размышлять: а ведь я впервые выходил из этой комнаты, прежде мне это не удавалось. Я не посмел перейти через мостик, но я уже был на нем, и с него я высматривал дорогу, теряющуюся в камнях, с него искал я каких-то неведомых ощущений, которые ждут впереди. Значит, я сделал еще один шаг. Мне не хочется искать ответа, хорошо это или плохо, я только со вздохом переставляю себя в новое положение. Совсем темно, пора возвращаться домой. Я в комнате, на полпути к дому, но в какой он теперь стороне, мне все труднее понимать.

Я сижу, уже ничего не различая за окном, кроме тяжелых очертаний леса, время от времени ощупываю себя, здесь ли я еще, и дремлю над вопросом: если я спускался к мостику — станет ли после этого ночной звон ближе, настойчивей?